



Солнце катилось по выбеленному небу огненным шаром, брызгало жаром, от которого не спасали даже вековые сосны, выпаривало из задубевшей кожи остатки влаги, сжигало. И внутри у Федора тоже было солнце, такое же беспощадное, как и то, что на небе. Иногда ему казалось, что он сам и есть солнце, но остатки сознания, те крохи, которые еще позволяли ему не рассыпаться прахом, шептали: это не солнце, это жар. А еще голод и жажда...

Сколько дней он блуждает по лесу? Федор не знал. Сначала пытался вести счет, но очень скоро сбился, и теперь ему казалось, что прошла целая вечность. Его кожа пошла трещинами и сочилась сукровицей, на которую слетался гнус. Он облеплял Федора черной мантией, забивался в глаза, ел поедом. Все мысли были о воде. Холодной. Нет, ледяной! Чтобы нырнуть в нее с головой и пить, пить...

Воды не было. Ни реки, ни ручья, ни дождя. А напиться вдосталь росой не получалось, как не получалось наесться незнакомыми, кислыми до оскомины ягодами, которые иногда попадались на пути. О мясе Федор даже не мечтал. В этом враждебном мире он был чужаком, не охотником, но жертвой.

То, что он до сих пор жив, казалось чудом. Вот только верить в чудеса уже не получалось.

А ведь когда-то он верил!

Дурак, безнадежный идеалист... И куда привела его эта вера? На каторгу?..

Он не желал дурного ни своему народу, ни своему отечеству. Наоборот, он думал, что все можно изменить мирным путем, без крови. Он, потомственный дворянин, верил, что миру пришла пора меняться. Нужна лишь самая малость. Нужно лишь дать народу то, что его по праву, проникнуться его страданиями, прислушаться к его стонам.

Так говорила Сашенька Эпштейн, черноглазая, коротко стриженная, стремительная. Сашенька курила сигареты, смотрела на Федора с насмешливо-снисходительным прищуром и неизменно называла графом Шумилиным. А ему хотелось, чтобы Феденькой. Но эти мечты были глупыми и никоим образом не касались отчизны и народа, поэтому Федор злился на себя, а Сашеньке дерзил. Мало было чести в такой дерзости, и он тут же краснел и терялся, вел себя как безусый юнец. В свои-то почти двадцать два года.

И когда он уже почти отчаялся обрести душевный покой, Сашенька сказала:

— Федя, а приходите на собрание! Обещаю, будет очень интересно. — И посмотрела не так, как раньше, насмешливо, а очень серьезно. Глазницами своими черными прожгла дыру в его бедном сердце.

Федор пришел, на крыльях прилетел в глухой, неприметный переулок. Когда он подавал сигнал

условным стуком, сердце его билось в унисон, грозило выскочить из груди. Сашенька встретила его лично, протянула руку для рукопожатия, а он, дурак, поцеловал тонкие пальчики с коротко обрезанными ноготками. Поцеловал и тут же смутился, потому что всякие реверансы и этикетки — это буржуазность и пережиток. Сашенька не раз об этом говорила. А она рассмеялась, потрепала по щеке, поманила за собой в просторную, скудно освещенную комнату, полную незнакомых людей. Эти люди не были похожи ни на самого Федора, ни на Сашеньку. И даже с народом, о котором они все радели, у них не замечалось ничего общего. Они напоминали бандитов с большой дороги — матерые, с волчьими взглядами. Некоторые из них были вооружены, и Федор вдруг испугался.

Всеобщее благоденствие и путь, который непременно к благоденствию приведет, виделись ему иначе — светлее и радостнее. Они не смердели табаком и прокисшим потом, не прятались в комнатах с плотно занавешенными окнами. Наверное, Федор ушел бы, если бы Сашенька не взяла его за руку и не улыбнулась бы ободряюще. Сашенька несколько не боялась этих мрачных людей, и он не станет бояться!

Его приняли как равного, налили стопку, предложили сигарету. И Федор впервые в жизни закурил. Он опрокинул в себя стопку, а потом курил, вдыхал вонючий дым и думал лишь о том, чтобы не закашляться, не показаться неопытным щенком перед этими матерыми волчищами. Ему думалось, что все в комнате смотрят только на него, что он вот прямо

сейчас сдает какой-то очень важный экзамен, проходит посвящение, о котором его не предупредили заранее.

Наверное, он справился, потому что, когда сигарета наконец догорела, на него уже никто не смотрел, а смотрели все на разложенную на круглом столе карту и о чем-то жаростно, но вполголоса спорили. Федор подался было к столу, но то ли от выпитой стопки, то ли от выкуренной сигареты голова вдруг закружилась, а к горлу подкатила тошнота. От двери его отделяло всего два шага, и он не вышел, а практически вывалился в ее черный проем, прижался взмокшей спиной к стене, задышал часто-часто, по-собачьи.

Воздух в коридоре пах плесенью, гнилой картошкой и еще какой-то неведомой дрянью. Захотелось на улицу или хотя бы к окну. И Федор побрел по темному коридору, выставив перед собой руки, ощупывая шершавую стену, чтобы не расшибиться. Стена закончилась еще одной дверью, не запертой, а лишь чуть прикрытой.

В этой комнате окно не было занавешено, и сквозь мутное стекло просачивался лунный свет. В самом центре, прямо на полу, стоял деревянный ящик. Можно было уйти, не трогать занозистую крышку, не совать нос в чужие опасные тайны, но Федор не смог уйти.

В ящике лежал динамит...

В том мире, где жил Федор, добро должно побеждать без насилия и уж точно без оружия. В его мире людей не должно было разрывать на кровавые ошметки. Не такой он видел справедливость.

— ...Ах, вот вы где, Федя! — Сашенька, словно призрак, вступила в столп лунного света. — А я уже начала волноваться.

— Здесь динамит. — Ему хотелось предупредить ее, защитить от происходящего, спасти, если потребуется.

— Я знаю. — Сашенька прошла по лунной дорожке к ящику, замерла, сказала с придыханием: — Какая мощь! Чувствуете, Федя? С такой мощью весь мир будет у наших ног, все враги окажутся повержены!

— Какие враги? — Он не понимал, о чем она говорит. Не хотел понимать. — Это опасно, Александра!

— Да, это опасно! — Она приблизилась с какой-то нечеловеческой стремительностью, впиалась в губы жадным поцелуем. — Это смертельно опасно и смертельно прекрасно! Неужели вы не чувствуете?!

Федор чувствовал. В тот же миг почувствовал всю мощь ее безумия и испугался, что через ее отравленный поцелуй тоже может заразиться этой страшной одержимостью. А Сашенька цеплялась за него, оплетала руками, опалая дыханием — заражала. И он ее оттолкнул. Инстинктивно, не желая дурного, отлепил от себя и вытер об штаны взмокшие ладони.

— Я уйду, — сказал твердо, — мне не нужна такая мощь.

Она не поверила, привстала на цыпочки, заглянула в глаза, а потом захохотала хриплым, прокуранным смехом.

— А некуда вам идти, граф Шумилин, — сказала, отсмеявшись. — Я за вас поручилась.

В тот самый момент Федор понял, что игры в идею, справедливость и равенство кончились, что живым его не отпустят. Возможно, сама же Сашенька и убьет. Ради высшей справедливости. Стало вдруг не страшно, а обидно, что он попался вот так по-глупому, что ходил на ощупь там, где нужно было смотреть в оба. А еще захотелось Сашеньку ударить, но ведь женщин бить нельзя.

Может быть, он бы решился, если бы хриплый Сашенькин смех не потонул в заливистой трели полицейского свистка, если бы в неприметный дом в неприметном переулке не нагрянула облава...

Взяли всех — кого живым, кого мертвым. Сашеньку застрелили прямо у Федора на глазах. Она упала к его ногам и поползла, оставляя за собой кровавый след, а он стоял, онемевший, парализованный, не пытающийся ни бежать, ни объясняться. И даже боль от выкручиваемых за спину рук не привела его в чувство, не выдернула из странного оцепенения.

Так он и жил, в оцепенении, до суда и вынесения приговора. Боролся за всеобщее благоденствие, а сделался бомбистом, государственным преступником. Его, графа Федора Алексеевича Шумилина, приговорили к бессрочной каторге. Не помогли ни отцовские связи, ни матушкины прошения, ни титул. А сам он ни о чем не просил, только у родителей, бабушки и сестры Настасьи прощения и благословения, только перед ними он чувствовал себя виноватым.

Федор считал себя сильным и смелым, думал, что сможет снести любые тяготы. Но оказалось, что и сила его, и смелость — всего лишь иллюзия. Он держался. Когда прощался с родными, даже шутил, уговаривал маму, бабушку и Настю не волноваться, говорил, что в Сибири тоже живут люди, может, даже не хуже, чем в столице. Вот только и мама, и бабушка, и Настя, и уж тем более отец знали, что этапируют его не в ссылку, а на каторгу, что после недавнего убийства государя¹ такие, как он, стали считаться особо опасными преступниками, недостойными снисхождения. Поэтому и плакали по нем, как по покойнику, и сам он с этим уже почти смирился, но глубоко в душе все еще верил, что сдюжит, справится со всеми бедами и этапирования, и каторги.

Не сдюжил... Кандалы стерли кожу в кровь уже в первый день пути. А сколько еще таких дней?! Знающие говорили, что и полгода не предел. А и пускай бы даже подольше! Потому что тюрьма в Каре, по словам все тех же знающих, страшнее ада, перемелет, переварит, выплюнет обглоданные кости, чтобы другим неповадно было царей убивать. Федор и верил, и не верил этим разговорам. Ему-то казалось, что хуже, чем есть, уже и быть не может. А потом перед Пермью от непонятной болезни скончались сразу четыре арестанта, и оставшиеся на собственных горбах по очереди тащили разлагающиеся, смердящие тела, чтобы на этапе

¹ Речь об убийстве народовольцами Александра II 13 марта 1881 года.

сдать их под список. Вот тогда-то Федор понял, что может быть хуже, намного хуже. А в Перми, где их отряду полагалась недельная передышка, решил, что сбежит.

Сбежать пробовали два раза. Трех поймали, еще двоих пристрелили при попытке к бегству. Это был урок, который остальным следовало усвоить. И Федор усвоил. Бежать нужно было не по велению сердца, а с холодным расчетом, лучше бы не в одиночку, а с товарищем. Вот только он никому больше не доверял, боялся, что в отряде есть доносчик. Основания к тому имелись, об этом шептались заключенные на привалах. Люди боялись, страх делал их покорными, а охрану небрежной.

Этой небрежностью, а еще небывалой удачей Федор и воспользовался глухой июльской ночью после одного особо тяжелого перехода, который свалил с ног и заключенных, и охрану. Большую ее часть. В середине ночи началась гроза невиданной силы, когда оглушительный гром и дождь сплошной стеной. Грому Федор радовался так же, как и дождю. Его раскаты заглушили звон кандалов, когда он, дождавшись темного промежутка между почти беспрестанно бьющими молниями, кубарем скатился в глубокий овраг. Жив остался чудом, но сильно расшибся и потерял бесценное время, приходя в чувство после падения. Там, наверху, его, наверное, уже хватились, нужно было бежать.

Бежать не получалось, получалось ползти на четвереньках, в темноте натываясь на кусты и деревья, захлебываясь льющей со склона оврага водой. Где-то поблизости протекала река, Федор слышал

шум воды до того, как началась гроза. В реке было его спасение, нужно только избавиться от кандалов.

Камень, удобный для хвата, с острым краем, он подобрал еще во время дневной стоянки, спрятал за пазуху. Только бы выдержал! Камень выдержал, кандалы не сразу, но поддались. Их нужно сбивать правильно, недостаточно просто разбить цепь, потому что немалая тяжесть железа утащит его на дно в тот самый момент, как он окажется в воде. И Федор долбил непослушный металл, сдирал с лодыжек кожу, терял драгоценное время, а когда оковы упали, не сразу поверил своей удаче и едва не совершил непростительную ошибку, едва не оставил кандалы тут же, на земле. Одумался в последний момент, вернулся, сунул в нору между корнями старой лиственницы, прикрыл иглицей и только потом побежал.

Оказалось, он разучился бегать, то и дело сбивался на ставший уже привычным семенящий шаг. Федор бежал и боялся, что направляется не в ту сторону. Гроза из помощницы превратилась во врага. Он не слышал и не видел реки, полагался теперь только на удачу, на то, что дуракам везет. Он ведь самый настоящий дурак и есть, если собственными руками сгубил свое будущее.

Лес оборвался внезапно, когда гроза уже почти стихла. Вековые сосны замерли на краю обрыва, цепляясь корнями за гранитные валуны. И Федор замер, увидел, как далеко внизу шумит и беснуется река, и понял, что не сможет, не найдет в себе смелости прыгнуть.

Так бы он и стоял, борясь с собой и со своим страхом, если бы за спиной не послышались вы-

стрелы. Конвой не стал дожидаться, когда закончится гроза... Одна пуля ударила в гранитный валун, высекая из него искры, вторая опалила левое плечо. И в этот самый момент вместе со жгучей болью пришла лихая, отчаянная удаля. Она вытеснила страх и толкнула Федора с обрыва.

Вода оказалась твердой, как камень. Федору сначала и показалось, что он упал на камни, а потом его, почти потерявшего сознание, подхватило, закружило, потянуло куда-то. И сопротивляться этому не было никаких сил, а хотелось сдаться и умереть. Вот только тело не желало умирать. Тело цеплялось за жизнь и за несущиеся навстречу камни, обламывало ногти и сдирало остатки шкуры.

Река, протаскивая его, казалось, несколько верст, выплюнула на колкий каменистый берег и оставила умирать. Наверное, Федор потерял сознание, потому что, когда он открыл глаза, начался рассвет. Он брезжил еще где-то далеко, за лесом, но над притихшей рекой уже стелился густой утренний туман, а в ветвях деревьев звонко чирикали какие-то птицы. Федор лежал неподвижно до самого восхода солнца, не находил в себе сил даже отползти подальше от воды. Лежал и не верил, что выжил, победил в этой почти безнадежной битве с людьми и со стихией. Тело, битое об речные камни, ныло, а кожа горела так, словно его освеживали заживо. Из распоротой щеки текла кровь, окрашивая красным серую гальку. Но рана на руке казалась неопасной.

Он встал, когда понял, что может умереть прямо здесь, на берегу, если не начнет двигаться. Поднялся сначала на четвереньки, потом, придерживаясь

за большой валун, на ноги, постоял, прислушиваясь к шуму в голове.

Нужно было уходить. Он и так потерял непростоительно много времени. Вряд ли его станут искать живым, но кто знает?..

Федор ушел от реки, и это была его самая большая ошибка. Нельзя было удаляться от воды, добровольно обрекая себя на жажду. Вот только когда он это понял, было уже поздно, попытка вернуться ничего не дала. Лес не отпускал. Густой, первозданный, он обступал со всех сторон, заметал следы, срачивал надломленные Федором ветки, шумел убаюкивающе. Этот вековой лес, как и река, хотел оставить его себе, измотать, извести, а потом попить на его костях. Лес следил за ним сотнями глаз, дышал в затылок, хватал за ноги корнями, угваривал прилечь, отдохнуть. Но Федор упрямо брел вперед, спал вполглаза, забравшись на дерево. Ему казалось, что на дереве безопасно. До тех пор, пока он не увидел рысь, крупную, пятнистую, совсем не похожую на безобидную домашнюю кошку. Та рысь оказалась сытой. Повезло. Но в лесу было еще очень много голодного зверья. Федор слышал хруст веток, вздрагивал от мощного рыка, припадал к земле, вжимался в стволы деревьев в попытке слиться с лесом, стать незаметным.

Он перестал бояться и прятаться, когда пришел жар и привел с собой невыносимую жажду. Многочисленные раны загноились. Сначала Федор пытался прикладывать к ним мох, но становилось только хуже. Тело зудело, и от этого зуда не было никакого спасения. А потом он потерял счет

дням. Теперь он больше лежал, зарывшись с головой в прошлогоднюю листву, и продвигался вперед только ночью, когда спадала жара, а тело хоть немного слушалось.

Все чаще ему хотелось сдаться на милость леса, но упрямство, единственное, что у него осталось от прежних человеческих чувств, гнало вперед, и лес отступал перед этой одержимостью.

Водой запахло на закате. Федор учуял ее, как кони чуют водопой. И так же, совершенно полошадному, вскинул голову, шумно втянул в себя воздух. Жажда и голод обострили чувства, превратили его из дичи в оголодавшего, потерявшего страх зверя.

К озеру Федор вышел уже ночью, когда вместо беспощадного солнца на небо выкатилась полная луна, залила все холодным светом. В этом свете озеро казалось серебряным. Оно было большое. Нет, оно было огромное! Противоположный берег тонул в темноте, а то, что Федор сначала принял за берег, оказалось островом. Он возвышался над водой громадной каменной глыбой, щетинился уступами, тянулся к ночному небу высокими деревьями. От острова к берегу бежала лунная дорожка, и Федору, ошалевшему от жажды и радости, показалось, что по этой дорожке можно дойти куда угодно, хоть до острова, хоть до звезд. Она была яркой и незыблемой, она манила...

Силы оставили Федора на берегу. В отливающую серебром воду он не вошел, а вполз на животе, отталкиваясь стертymi в кровь ногами, помогая себе распухшими руками. Преодолеть эти несколько

метров каменистого пляжа оказалось едва ли не самым тяжелым. В какой-то момент Федор испугался, что умрет, так и не напившись. Такая смерть казалась ему жуткой и ужасно несправедливой, и он сцепил зубы и полз, а когда прохладная вода ласково лизнула кончики пальцев, заплакал от облегчения и последним невероятным усилием швырнул непослушное тело в озеро.

Это была самая чистая, самая вкусная вода в его жизни! Это было самое прекрасное из когда-либо виденных им озер! Федор пил, захлебывался, фыркал, снова пил, погружался под воду с головой, наслаждаясь появившейся в теле невесомостью, чувствуя, как уходит вековая усталость и возвращается желание жить. Чудесное лунное озеро возвращало ему то, что казалось навсегда потерянным, и Федор, до этого едва державшийся на ногах, поплыл широкими, страстными гребками.

Озеро пело, вибрировало и звало. Казалось невероятным, что он только сейчас услышал этот зов. Разве можно было не услышать такое чудо?! От острова, теперь Федор видел его отчетливо, как днем, по ровной водной глади расходились круги, словно от брошенного камня. А сам остров вдруг сделался похож на огромную голову всплывающего со дна чудовища. Чудовище зорко следило за пловцом черными провалами глазниц, недовольно ворочалось, и круги на воде все усиливались. Теперь они были похожи на волны, с которыми Федору приходилось бороться, но возвращаться не хотелось, хотелось плыть вперед, к ошестинившемуся каменными шипами проснувшемуся чудови-

шу. Ведь не просто так оно зовет. Не просто так он столько дней блуждал по тайге и остался жив. Вот ради этого!

Озеро вибрировало все сильнее, вздыбливалось то тут, то там, искрило серебряной змеиной чешуей, дразнило. А остров все никак не приближался, и силы, которых еще мгновение назад было с избытком, вдруг закончились. Руки и ноги налились свинцом, точно на них снова повисли кандалы. Повисли и потянули вниз, под воду. Или не кандалы, а упругие, отливающие серебром кольца обвилились вокруг тела, сжали так, что ни вдохнуть, ни выдохнуть.

Стало страшно. Страх за свою жизнь Федор пережил немало и со смертью в последнее время ходил рука об руку, но этот страх, сковавший тело и душу серебряной чешуей, был особый, из тех, что не забыть, не вытравить из сердца. Наверное, так себя и чувствует кролик в стальных объятиях удава. Федор и есть глупый доверчивый кролик, и объятия смертельные он ощущает всем телом, а вот удава не видит. Вода вокруг, беспокойная озерная вода — никакого чудовища, а тело криком кричит от ужаса, бьется в невидимых тисках, не хочет умирать. И тишина вокруг как на погосте. Даже плеска волн не слышно. Звезды просыпались с неба в воду, зажгли ее белым огнем, закружились в беззвучном хороводе. Красиво, только умирать все равно придется, хоть со светом, хоть без. И если перестать бороться, а вдохнуть воду полной грудью, все закончится очень быстро. Возможно, одной звездой в хороводе станет больше и одной неприкаянной душой тоже.

Федор почти сдался, почти смирился, но вместо